

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НЕКРАСОВЕ

В тесном значении этого слова Н. А. Некрасов не состоял моим знакомым, т. е. в гостях друг у друга мы не бывали. Я посетил его всего четыре раза, а он у меня был только раз, и то по делу. Тем не менее в молодости я был великий почитатель покойного, и судьба послала мне грустную участь нести его прах в Новодевичий монастырь... На кладбище я даже не был... Это было свыше моих сил... Раза два я обращался к Н. А. Некрасову за денежной помощью, и в оба раза он мне не отказал. Покойный был в высшей степени симпатичен и привязывал к себе людей с первого шага знакомства; кроме того, он задушевно был благородный и добрый человек... Кто оскорбит память его иными мыслями, тому да будет стыдно, по выражению английского Генриха IV ("Hony soit mal u pense" - [Да будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает (старофр.)]). Некрасов помогал очень многим бедным и был подчас щедр. Вот маленький случай, характеризующий его душу.

Один неизвестный писатель, приехав из провинции, как водится, без гроша денег, в Петербург, но с тысячами надежд в голове, решился в критическую минуту обратиться с просьбой к Некрасову о каком-либо месте. Н. А. сейчас же послал ответ с предложением должности корректора и с вложением 50 рублей. К сожалению, письмо Н. А. попало не в руки бедному писателю, а его товарищу, в квартиру которого он просил адресовать ему письмо; этот товарищ, очень молодой человек, учащийся, получив деньги, прокутил их, не сказав писателю, и несчастный, не подозревая ничего, прождал несколько дней ответа Некрасова, кое-как успел собраться и уехал [к] себе в провинцию, однако через несколько месяцев он возвратился в Петербург и случайно узнал проделку своего товарища. Улики были ясные и налицо, так как многие из товарищей молодого человека видели у него письмо от Некрасова к писателю; последнему же необходимо было оправдаться в глазах Николая Алексеевича, и он настоял на том, чтобы уличенный выдал ему хотя бы записку к Некрасову, что письмо его к писателю было получено во время отъезда его из Петербурга и затеряно им; тогда как на конверте Некрасовым было собственноручно написано: "Со вложением пятидесяти рублей от Н. А. Некрасова". С этою запиской писатель явился к Некрасову в то самое время, когда и я был у него, а потому был невольным свидетелем сцены, крепко врезавшейся у меня в памяти. Распрощаться с Некрасовым и уйти мне было нельзя, так как разговор мой с ним не был кончен.

Писатель был среднего роста мужчина, несколько цыганского типа, но красивый, с энергическими черными глазами, с длинными волосами и бородой.

- Извините, - начал он, [обращаясь] к Николаю Алексеевичу, как бы желая, чтобы я вышел, - я пришел к вам по довольно щекотливому делу.

Некрасов пригласил его садиться и сам сел около него. Я отошел к окну.

- Несколько месяцев назад, - проговорил гость, - я обращался к вам с просьбой о деньгах... Моя фамилия такая-то...

- А! Помню, помню, что же вы ко мне не приходили? Я, помню, предложил вам место корректора и послал немного денег, да-да... пятьдесят рублей...

- Я не получал ни письма вашего, ни денег...

- Как так? - быстро спросил Некрасов и, живо привстав, подошел к двери и пригласил нашего известного русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова.

- Что мы сделали по письму такого-то? - спросил он у Михаила Евграфовича, когда тот вошел.

- Мы отослали ему 50 рублей и предложили место корректора.

- Я не получал письма, - возразил гость, собираясь объяснить.

- Неправда, - резко отрезал в ответ Салтыков, - письмо передано вашему товарищу, и есть его расписка в книге. Я хорошо все помню.

С этими словами Михаил Евграфович вышел из залы.

- Это верно, письмо было получено, - оправдывался посетитель, - но не было передано мне... - И он стал рассказывать до конца происшествие.

Некрасов слушал его, опустив голову и произнося только по временам свое гортанное не то "э", не то малороссийское "га!" или "ха!", да еще иногда разводил руками.

Выслушав, Некрасов молча стал прохаживаться по зале. Произошла пауза, действовавшая на посетителя весьма раздражительно: лицо его сделалось красным, энергичнее, черные глаза блеснули.

- Вы, кажется, не доверяете истине моего рассказа? - спросил он Некрасова. - Вы думаете, что это письмо от товарища - придуманный шантаж, чтобы выпросить у вас еще денег?

- И не воображаю, - апатично отвечал Николай Алексеевич.

Я с нетерпением ждал окончания разговора. По энергическому выражению лица посетителя, по тону и искренности речи я не считал его за шантажиста, но все-таки предполагал, судя по его довольно бедному костюму, что он, не получив нечаянно от Некрасова денег, теперь, в нужде, желал бы получить их вторично, а Николаю Алексеевичу жалко дать их ему вновь или он боится быть обманутым.

- Я кое-как теперь устроился в Петербурге, - заговорил грустным голосом посетитель, - но мне совестно против вас, Николай Алексеевич, что я сейчас не могу отдать вам свой долг. Получил ли я ваши деньги или нет, по своей опрометчивости, для меня все равно. Вы выслали мне их и лишились. Я пришел с целью просить у вас отсрочки и объяснить, в чем моя пред вами вина.

- Меня стыдиться нечего, - отвечал Некрасов, почему-то взглядывая на меня. - Я сам бывал в вашем положении... Мне самому случалось некогда и просить, и занимать деньги... И если взятые деньги пойдут на дело, то... - Некрасов не договорил и махнул рукою.

- Все-таки, Николай Алексеевич, - скромно заметил посетитель, - мое самолюбие заставляет меня оправдаться фактично в ваших глазах. Вы в этом деле скомпрометированы ничем быть не можете. Вас попросил о помощи бедный труженик, и вы тотчас откликнулись на вопль. Я докажу вам, что я передал сущую правду, и или напишу об этом деле в газетах, или просто обращусь к мировому судье...

- Что вы, что вы, батенька! - чуть не с испугом вскричал Некрасов, с бледным лицом и широко раскрытыми глазами. - Да вы, никак, с ума сошли?

Сильное волнение Некрасова мне было непонятно.

- Разве можно в жизни так действовать, - продолжал он. - Ведь вот этот, какой бы то ни было, товарищ принадлежит к учащейся молодежи? Вы можете зарезать, опозорить его на всю жизнь... Еще, пожалуй, судом товарищей может быть изгнан из среды их... А за что? За то, что молодой человек увлекся... Может быть, первый раз в жизни... Вы знаете, что у него теперь на

душе... Нет, - рассуждал Николай Алексеевич, - так поступать нельзя... Да черт побери эти деньги... Я еще дам сколько нужно... Но...

Как добр, хорош и благороден был в эту минуту Н. А. Некрасов! Никогда это не изгладится из моей памяти. Мало того, объяснение кончилось тем, что Некрасов чуть не просил просителя, чтобы он все предал забвению.

После этого я несколько лет не видал Некрасова. За это время многие взгляды мои на жизнь и литературу изменились. При всем обожании в молодости своей таланта Некрасова, при всем уважении к его личности и благодарности за оказанные мне благодеяния, некоторые его произведения стали мне казаться то детскими, то наивными. Я начал иронически относиться и к некрасовским рифмам. В одно время я сочинил даже виршу в подражание Некрасову.

Вот она:

Много рифм престарательных,
Большую частью причастий страдательных,
Он ввел в речь простую мужицкую
И сочинил даже песню ямщицкую...
А как сжег он на Невском нарядную?
Вот отлил-то штуку презнатную?

Et cet. [*и так далее* (лат.)] глупость в этом роде.

Сколько мне помнится, Некрасов был у меня 3 февраля 1875 года по поручению Литературного фонда в качестве члена и товарища председателя, но он был в хорошем расположении духа и пробыл у меня довольно долго; провести же с Николаем Алексеевичем хотя бы полчаса все одно что с иным быть знакомым целые годы, до такой степени он был общителен. Простотой обращения со мною Некрасов довел меня до того, что я забыл о нашем литературном неравенстве и разболтался с ним по-бурсацки и ляпнул свою виршу.

- А что вы думаете? - проговорил Некрасов, нисколько не обидясь и улыбаясь самым добродушным образом. - Я действительно никак не могу отвязаться от этих рифм, хотя и стараюсь. Но они введены не мною; они в духе народа издавна... Какие стихи более всех из моих вам не нравятся?

Мне было очень стыдно за свой язык без костей, что я так расфамильярничался, и тут я вспомнил, что один мой знакомый, и хорошо знавший Некрасова, передавал мне, что Николай Алексеевич крайне самолюбив в деле [оценки] своих литературных произведений. Но язык мой - враг мой, да и хотелось блеснуть самостоятельностью убеждений.

- "Огородник" и "Еду ли ночью по улице темной", - брякнул я, по-видимому смело, а сердце между тем стучало. Некрасов подпер рукою щеку и дал мне понять, чтобы я объяснил ему, вследствие чего эти два его стихотворения подпали под мою опалу.

- "Огородник", - начал я тревожно, - мне никогда не нравился... Я не могу понять, каким образом молодая образованная барышня могла влюбиться в человека не одной среды с собою, с которым у нее нет ничего общего, ни одного связывающего атома. Как бы ни был хорош физически и даже в душе этот огородник, но степень цивилизации пропастью разделяет его от образованной девушки... У него свои понятия, свое мирозерцание, свое обращение... Ее чувством могла руководить одна грубая, животная чувственность... Эти волжские песни, которыми мы можем восхищаться, ей должны казаться простым воем...

- Однако, я не подозревал в вас такого эстетика, - усмехнулся Некрасов. - Видно, что вы коренной провинциал дальних губерний... Отчасти аристократ. С этой точки зрения вы правы, но вы не знаете петербуржцев... Повысьте образование огородника и понижьте барышню...

Возьмите во внимание еще кое-что и время написания "Огородника"... Ну-с, а "Еду ли ночью по улице темной"?

- "Еду ли ночью", - отвечал я точно на экзамене, решившись храбро защищаться перед профессором, - было не только в юношестве и в молодости, но даже недавно, в средних летах, до приезда в Петербург, одним из любимейших стихотворений... Я его знаю наизусть и более 500 раз читал в разных слоях общества... Теперь же задушевно я его прочесть не могу... Как только дойду до этого места: "Я задремал. Ты ушла молчаливо, // Принарядившись, как будто к венцу...", так злой дух и шепчет мне в ухо: "Значит, у нее еще было другое платье, если она могла наряжаться? Зачем же она не сделала этого прежде? Может быть, и ребенок был бы жив..." Наконец, пойдет ли в голову бедной любящей женщины и матери, при виде своего умершего ребенка, мысль идти продать себя? Не фальшиво ли это? Строго психически анализируя, мы приходим к такому заключению, что многие наши на первый взгляд кажущиеся моментальными решения в сущности - плоды обдумывания. Замедлились они лишь вследствие внутренней сделки с своею совестью... Читая стихотворение между строк, очевидно ясно, что барышне давно сделано предложение и она наряжалась, зная, к кому идет... Много, может быть, она боролась: идти или не идти... Но, почему знать, не мешал ли ей ребенок... Гора с плеч свалилась... А он-то какой трутень! Он же видел, что ребенок умирает, болен, что в комнате холодно... Отчего же он не принял каких-нибудь мер? Нет, по-моему, ей следовало бы пойти и заложить свое платье, кинуться и туда, и сюда, а ему не дремать и тоже порыскать где-нибудь и как-нибудь достать денег, просьбами ли, унижением, даже воровством и прощением милости... А! Вы скажете, что это стыдно, самолюбие не допускает? Ха-ха-ха! А допустить любимую женщину до положения продажи себя - не стыдно?

Некрасов сидел угрюмый и задумчивый, ударяя себя кулаком по колену перекрещенных ног.

- Но возмутительнее всего следующая картина в веселых стихах, когда она возвращалась:

Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек.
Сына одели и в гроб положили...

Словом сказать, хоть на час они до того заблагодушествовали, что кавалеру стоило только обнять свою даму и пуститься танцевать: "Тру-ля-ля, тру-ля-ля..."

Все это было представлено мною до того комично, что Николай Алексеевич расхохотался, но вскоре о чем-то задумался и проговорил:

- "Лучшая пора в моей жизни". Вы теперь смеетесь, и я тоже, а прежде?

- Я неоднократно плакал, читая это стихотворение, - отвечал я.

- То-то же и есть, - заметил Некрасов, - в нас не было еще задавлено чувство житейским опытом. Скажи нам тогда: такой-то, мол, бедствует, страдает. И мы верили и протягивали руку, а теперь так и гнездятся в голове вопросы: отчего бедствует, зачем страдает? Не по своей ли вине? Когда вы в первый раз читали это стихотворение, у вас не было седых волос, а теперь я их вижу... Я тоже тогда был с волосами, а теперь... - Некрасов указал на середину своего гладкого черепа и махнул рукой.

Меня очень интересовала известная поэма Николая Алексеевича "Кому на Руси жить хорошо?", и я решил заговорить о ней.

- А кому, вы полагаете? - спросил он меня.

- Да, полагаю, Николай Алексеевич, - сказал я вульгарно, - что лучшего житья никому нет, как лакеям всех сортов и видов, старого и нового времени.

- Иронический вы человек, как сказал Ф. М. Достоевский, - заметил, улыбаясь, Некрасов, - но лакеям жить хорошо не на одной только нашей матушке Руси, а везде и повсюду. Порою и им крепко достаётся. Так что, как порассудишь, то на белом свете не хорошо жить никому...

Посидев у меня еще несколько минут, Некрасов вспомнил, что он приехал не один, а с дамою, которая ждет его в санках. Даму эту он назвал своею женою. Николай Алексеевич, сколько я мог заметить из промежуточного знакомства, бывал не то рассеян, не то забывчив. Действительно, провожая его на крыльцо, я увидел у ворот сидящую в санках молодую красивую женщину, сколько я припомню, в бархатной темно-вишневого цвета ротонде. Жил я тогда в отдаленной улице Песков, в деревянном флигеле.

Посещение Некрасовым моей убогой квартиры живо рисуется в моем воображении и никогда не изгладится из моей памяти.

Комментарии

Печатается по журналу "Нева" (1886. No 48). Некрасов по поручению Литфонда посетил Шкляревского и ходатайствовал о предоставлении ссуды. О взаимоотношениях Некрасова и Шкляревского см. также в воспоминаниях А. А. Соколова в данном сборнике. История с растраченными деньгами послужила материалом для рассказа Шкляревского "Портсигар", а в его рассказе "Дьявольское наваждение" один из героев повествует о своем общении с Некрасовым, причем, судя по всему, этот фрагмент носит документальный характер (см.: Шкляревский А. А. Дьявольское наваждение. Портсигар. СПб., 1892. С. 11-13).